

Т у в е Я Н С С О Н

Малое
собрание
сочинений



Санкт-Петербург



Умеющая слушать



*Посвящается моему брату
Перу Улофу Янссону*

УМЕЮЩАЯ СЛУШАТЬ

Когда это началось, тетушке Герде было пятьдесят лет, и первым предупреждением о том, что она изменилась, стали ее письма. Они сделались безликими.

Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью, ничто в ней не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, конечно, не затейливо, но каждое слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно обдуманно и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немедленно, быть может, не всегда усердно, но серьезно и заинтересованно. Ее письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятных весенних дней. Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько задержаться со следующим письмом.

Читать ответные письма тетушки Герды было все равно что еще раз наиувлекательнейшим образом переживать свои собственные чувства и впечатления, но уже словно бы разыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происходящим и комментирует его. И одновременно читать со спокойной уверенностью в том, что тетушка всегда остается достойной того доверия, которым ее столь часто вознаграждали.

Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом, и, когда наконец отвечала, письма ее были исковерканы недостойными извинениями, стиль их стал высокопарен и изобилдовал длиннотами; и писала она уже только на одной стороне бумаги. А подробные комментарии, некогда содержавшие искреннее сочувствие адресату, утратили свою теплоту.

Когда человек теряет то, что можно назвать его изюминкой, выражением самых прекрасных его качеств, подобное состояние

вдруг обостряется, а затем с пугающей быстротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Гердой. Очень скоро она позабыла все дни рождения. А также имена, лица и обещания. Она, которая обычно сидела в ожидании на ступеньках своей лестницы и тем не менее всегда приходила первой, начала опаздывать. Ее врученные не вовремя подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и сопровождалась мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью приготовленные подарки, которые сама же и мастерила. Никогда больше не посылала красивые и трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда — блестящими; теперь она покупала дорогие глянцевые открытки с уже напечатанными пожеланиями радости и счастья.

Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась, а также об ужасном, удручающем недостатке внимания с ее стороны.

Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят, они живут в их сердце, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность, это не оценить деньгами, но это приносит столько радости. Все ее сестры, и братья, и внучатые племянники, и друзья думали про себя, что Герда изменила своим правилам, утратила чувство ответственности и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто беспомощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и необратимы и связаны с таинственной сферой мозга, формирующей сущность человека и его достоинство.

Тетушка Герда знала: с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что стали всего лишь добровольным желанием приспособиться к обстоятельствам и уступкой с ее стороны, требовали невероятных усилий от нее. Тетушка Герда мучилась, постоянно упрекая в чем-то себя. А самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов — необходимость следить за временем.

Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали собственное времяисчисление, они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого утра. Можно сказать, эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чувством откровенного ожидания, тетушка Герда при-

водила в порядок те вещи, которые хотела взять с собой, когда уйдет из дому. Потом в душе ее появлялась страшная неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаимосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого любишь. А хуже всего — то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно приближается — секунда за секундой, — и в одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у дверей... Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка времени, может случиться, когда уже слишком поздно, увы, уже слишком и слишком поздно. Когда назначенное время ухода приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось нестерпимым. Она совершала странные ошибки: неправильно определяла время на часах, начинала заниматься мелкими посторонними делами, ее одолевала усталость, и она засыпала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак вовсе безо всякой надобности именно в тот момент, когда будильник звонил. Когда же бедная женщина умудрялась наконец явиться в гости с опозданием, она не переставая мучила хозяев дома своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями.

Время шло, лучше ей не становилось. Как тяжело, когда тот, кого слишком высоко ценят, ведет себя неподобающе, столь абсолютно неподобающе, и происходит это так быстро, что никто не успевает вовремя прийти ему на помощь. Посреди какой-либо фразы тетушка Герда забывала, кто из ее внучатых племянников мальчик, а кто девочка, и панически замолкала, после чего, чрезвычайно понизив голос, говорила брату или сестре:

— Я хочу сказать, как поживает твой малютка?

Она говорила «Разрешите представиться!» людям, которых давно знала, и страх ее был при этом столь явным, что вызывал вокруг чувство подавленности.

Для того чтобы лучше понять манеру поведения тетушки Герды в период между зимой и весной тысяча девятьсот семидесятого года, требуется более подробное объяснение.

Возможно, мы недостаточно обращаем внимания на то, что непрерывно свершается с теми, кого мы любим, на тот кипучий, интенсивный процесс жизни, который, пожалуй, во всей его полноте могут охватить лишь такие личности, как, например, тетушка Герда, — разумеется, до всех тех изменений, которые с ней произошли. «Они любили сдавать экзамены, а потом добиваться

ученых степеней либо не добиваться их, они получают прибавку к заработной плате и стипендии либо ничего не получают, кроме детей или выкидышей и комплексов, у них трудности с прислугой, и с половыми сношениями, и с упрямыми детьми, вызывающими все возрастающую самостоятельность, и с ложными представлениями, и с деньгами, а возможно, с желудком, или зубами, или их верой, или профессией, или чувством собственного достоинства. Они запутываются в политике и в своих амбициях, и обманывают самих себя, и разочаровываются, на их долю выпадают измены, и похороны, и всякого рода ужасы, и постепенно у них появляются морщины и тысячи других вещей, о которых они и не помышляли, и все это есть и у меня, — печально думала тетушка Герда, — все ясно как день, и я не совершала никаких ошибок! Я никогда не ошибалась. Что же такое случилось?!»

Она часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Иногда она удивлялась, есть ли на свете спокойные и счастливые люди и существуют ли они вообще, а если они встретятся, посмеет ли она привлечь к себе их внимание. «Нет, — думала тетушка Герда. — Все-таки они носят нечто тайком в своей душе, они скрывают тяжесть, которой хотели бы поделиться. Письма, и подарки, и глянцевые картинки, выражающие нежность, важны. Но еще важнее слушать друг друга лицом к лицу, это большое и редкостное искусство».

Тетушка Герда всегда умела слушать. Быть может, тут отчасти помогало присущее ей умение формулировать свои мысли, а также отсутствие любопытства. Она слушала всех своих родных с тех пор, как была молода, слушала, когда они говорили о самих себе и о других, включала их, как и саму себя, в огромную, придуманную ею замысловатую книгу жизни, где разные события пересекались и следовали одно за другим. Она вслушивалась как бы всем своим большим плоским лицом, неподвижно и слегка наклонившись вперед, а взгляд ее был удрученным, иногда она быстро поднимала глаза, и в них читалась откровенная боль. Она не дотрагивалась до своего кофе и не обращала внимания на то, что сигарета ее догорает. И лишь в короткие промежутки времени, которые далее трагедия предоставляет для пошлых, но необходимых объяснений, она позволяла себе жадно затянуться сигаретой, выпить кофе и осторожно, стараясь не звенеть, поставить чашку на стол. Тетушка Герда была, собственно говоря, не чем иным, как воплощением тишины. А потом невозможно было

вспомнить, что она говорила, может, всего лишь, затаив дыхание, спрашивала:

— Да? Да?..

Или же коротко вскрикивала в знак сочувствия. Между тем, пока годы шли, а желание осознать происходящее все возрастало в душе тетушки Герды, не появилось ни единого человека, который побеспокоился бы о том, знает ли об этом ее желании она сама. Все они полагались на ее способность самозащиты, они позволяли ввести себя в заблуждение этой ее особенностью — простодушие сочеталось в ней с умением не вмешиваться. Рассказывать ей что-либо было все равно что рассказывать дереву или преданному животному. И никогда после этого ни малейшего чувства неудобства, которое обычно сопровождает тебя, когда разоткровенничаешься. Теперь же, казалось, тетушка Герда утратила свою наивность. Ее большое лицо, полуоткрытые и ничего не выражающие глаза, ее короткие возгласы не изменились, но они потеряли какую-то часть присущей им робости и естественного желания узнать, чтобы понять и благодаря этому полюбить. В глазах ее затаилась уже совсем не та прежняя боль, и у нее появилось какое-то раздражающее, беспомощное движение руки, зывающее, казалось, о прощении.

В ту зиму и весну немногие звонили тетушке Герде, в ее квартире наступила тишина, совершенно мирная тишина, и прислушивалась тетушка лишь к шуму лифта, а иногда — дождя. Она часто сидела у своего окна, наблюдая за переменами времен года. У нее был эркер — в форме полукруга, довольно прохладный, окно было круглым и теперь, в марте месяце, украшено ажурной ледяной решеткой. Сосульки были толстые и изумительно отполированы проточной водой, вечерами они становились голубыми. Никто не звонил ей, и никто не приходил. Она думала, что окно — это огромный глаз, вззирающий на город, на гавань и на полосу моря подо льдом. Непривычные тишина и пустота в квартире были для нее не только утратой близких, но и своего рода облегчением. Тетушка Герда чувствовала себя воздушным шаром, выпущенным из рук и блуждающим по воле ветра. «Но, — думала она всерьез, — это воздушный шар, который забивается под крышу и не может двинуться дальше». Она понимала, что так жить нельзя, человек не создан, чтобы бессмысленно парить в воздухе, он нуждается в земной точке опоры, в заботах и смысле жизни, чтобы не затеряться в ее сумятице. Однажды, когда на-

чалась капель, тетушка Герда решила потренировать свою память и вернуться к прежнему простому образу жизни. Она составила список преданных ей людей, которых смогла вспомнить, их детей и внуков, а также других родственников, и попыталась припомнить, когда они все родились. Лист бумаги оказался слишком мал. Тетушка Герда развернула на обеденном столе большой рулон бумаги, предназначенной для поздравлений, и укрепила его кнопками. Она написала имя и дату рождения каждого родственника, а против каждого имени нарисовала круглой линией голову, название же своей работы тетушка поместила в маленьком красивом овале, детей — совсем близко от родителей — и соединила с ними красными линиями. Все любовные связи она начертила розовым мелком, двойными же линиями — все незаконные и запретные отношения. Тетушка Герда почувствовала глубокую заинтересованность. На бумаге появились усложненные головы, окруженные обширным розовым ореолом, словно галактики, гигантские звездные системы, что внушают трепет и, однако же, вызывают почему-то сожаление.

Тетушке Герде впервые довелось испытать подобное переживание — составить картину родственных отношений и любовных связей, причем картину необычную. Она накупила мелков разных цветов. Она продолжала добросовестно рисовать: разводы обозначала она фиолетовым мелком, а ненависть — красным, как лак; линии верности — светлым. Умершие были серого цвета. Она оставляла место для описаний тех фактов и дат, которые составляют человеческую жизнь. Теперь у нее было время для воспоминаний. Время не представляло больше опасности: оно существовало параллельно с ней самой, поскольку ей нужно было запечатлеть его в маленьком красочном овале. Тетушка Герда отмечала кражи денег, кражи детей, кражи работы, а также кражи любви и доверия. Она вспоминала тех, кто, обладая нечистой совестью, причинял вред друг другу, или замалчивал достоинства других, или задерживал их продвижение по службе. Она соединяла их линиями, подчищала и делала поправки. Время больше не раздваивалось, и она прислушивалась лишь к своему собственному внутреннему голосу. Из забвения рождались звуки, рождались голоса, рождались лица, которые сливались воедино и обнажались, выпячивая губы, люди, которые говорили и говорили без конца. Тетушка Герда собрала всех родственников вместе, она позаботилась обо всех. То, что попадало в овал, избавлялось от

бремени страданий, но сохраняло свое внутреннее содержание. Память тетушки Герды открывалась, словно большая раковина, каждая линия была ясной и отчетливой; даже чрезвычайно отдаленное эхо постепенно приближалось, превращаясь в шепот.

Весна продолжалась, а тетушка Герда переносила свою большую карту жизни на пергамент. Ей немного мешало то, что там встречались повторы, которые могли показаться банальными, но ведь поведение людей диктуется определенными правилами. У нее на карте, помимо длительных и повторяющихся событий, отражались исключительные единичные поступки, например попытка убийства — ее она обозначила пурпурным цветом, ощутив легкий холодок напряженности, быть может подобный тому, какой испытывает коллекционер, наклеивая бесценную фальшивую марку на подходящее ей место в кляссере.

Иногда тетушка Герда сидела спокойно, не пытаясь вспоминать, погруженная в свою звездную систему минувшего и грядущего, она предчувствовала неизбежное изменение линий и овалов. У нее появилось желание предвосхитить то, что должно было произойти, обозначить эти новые линии, быть может, серебром или золотом, поскольку все другие цвета были уже использованы. Она тешилась шальной мыслью — заставить точки и овалы передвигаться, словно костяшки домино, менять взаимосвязи и создавать новые созвездия и запутанные цепи событий с непредсказуемыми последствиями.

Несколько раз звонили по телефону, но тетушка Герда говорила, что простужена и не принимает гостей.

К концу апреля она начала рисовать раму вокруг карты, — раму, состоящую из мелких удивительных орнаментов, несколько похожих на те фигуры, которые по рассеянности рисуют в телефонной книжке, пока разговаривают. Она вслушивалась в свой внутренний голос, в слова, кратко резюмирующие ее рассуждения.

Сын брата позвонил по телефону и спросил, может ли он подняться к ней, но тетушка Герда ответила, что у нее нет времени. Составление карты приближалось к своему завершению, это был чрезвычайно важный момент, и дело не терпело никакого постороннего вмешательства.

Крупные планеты крепко держат в своей орбите мелкие, спутники движутся своим, предначертанным им путем, а могучие линии усопших пересекают все остальные, все двойные, все подчеркнутые линии, а также все цепочки линий.

Сплошные просчеты, разочарования и потери. Тетушка Герда наметала все прекрасные человеческие взаимоотношения такими светлыми мелкими, что их затмили более яркие, а возможно, светлые линии стерлись в процессе работы. Теперь она шлифовала лишь слова, составляя краткие энергичные предложения, где каждое содержало ее выводы. Каждое слово было предназначено для кого-нибудь, кто очень внимательно слушал. «Ты знал, что виноват в его смерти? Ты знал, что ты не отец своей дочери? И что твой друг дурного мнения о тебе?» И карта, соответственно, менялась, а тетюшка Герда проводила свою первую линию золотой краской. Это была ужасающая и упоительная игра мысли, а называлась она «Слова, которые убивают». В нее можно было играть только вечером у окна. Тетюшка Герда полагала, что подобные слова должны ложиться на бумагу с длительными перерывами во времени, если они, конечно, в самом деле когда-нибудь будут произнесены. Восьми-девяти слов было бы достаточно для ощутимых изменений в этом огромном проекте, лежавшем на обеденном столе. А позднее, в свое время, — новые слова для кого-то нового, умеющего слушать, и снова картина изменится. Эффект возможно предусмотреть и рассчитать так же, как при игре в шахматы с самим собой... Тетюшка Герда вспомнила несколько поэтических строк из любимого ею произведения, читанного в дни юности: «Бьёрн и Фриттьоф за игрою перед шахматной доскою: блещет клетчатое поле жаром злата и серебра...»¹ Ей необходимо было чертить свои линии серебром и золотом и долго ждать, прежде чем взяться за следующую. Время у нее имелось, да и материал — неисчерпаем.

Дело было в начале мая. Долго-долго, допоздна в светлые июньские ночи она сидела у своего окна и играла в великую опасную игру. Она не зажигала ламп, ночь была ослепительно-голубой, прозрачной и медленно меняла краски, которые приходят вместе с весной. Ей не надо было смотреть на карту, она знала ее наизусть. Как и раньше, слова ее превращались в фразы и обретали форму, линии и овалы менялись местами, а краски постоянно чередовались. Впервые в жизни тетюшка Герда переживала сладостное и горестное осознание своей власти.

Когда потеплело, она открыла окно, надела плащ, накрыла шерстяным пледом ноги и, сидя в эркере, стала смотреть на город

¹ Слова из романтической поэмы шведского поэта Эсайаса Тегнера (1782–1846) «Сага о Фриттьофе» (1819–1825, опублик. 1841). Перевод Я. Грота.

и полоску моря вдалеке. Она слышала шаги и голоса внизу, на улице, каждый звук был совершенно ясен и отчетлив. Все, проходившие мимо, казалось, держали путь в гавань. Тетушка Герда почувствовала, что комнаты, в которых она жила, больше не окружают ее, они отвернулись от нее, они повернулись к улице. Необычайно светлая ночь внезапно стала тревожной и овевала ее грустью. Она думала о том неизвестном ей, что происходило в этот момент снаружи. Каждую минуту на улице что-то происходило. Тетушка Герда долгое время сидела совсем тихо, затем, отшвырнув плед, вышла в прихожую. Позвонив племяннику, она спросила, не хочет ли он ненадолго подняться к ней и поговорить немного о своей картине, но он был занят и не мог прийти.

— Живопись... — сказал он. — Это было так давно, тетушка Герда. Теперь я работаю у папы.

Положив трубку, она вошла в столовую. Карта была почти различима в полутьме, теперь она напоминала чрезвычайно древнее изображение земли, видимое с небес, нарисованное в те времена, когда исследованные острова были огромны, а неизвестные континенты ничтожно малы.

Тетушка Герда была перфекционистом, человеком, стремящимся к совершенству, возможно, она и сама об этом не знала или же ей было даже незнакомо это прекрасное и пронзительное слово; она сочла лишь, что дело, сотворенное лишь наполовину, не имеет никакого смысла. Время обмануло ее, это ужасное время, которое она снова упустила. Ее карта оказалась недействительной. Она медленно свернула ее, перетянула рулон тремя резинками и сверху написала: «Сжечь неп прочитанным после моей смерти». «Это была прекрасная работа, — подумала тетушка Герда. — Собственно говоря, жаль, если никто из родственников хотя бы не взглянет на нее». Она положила карту на самую верхнюю полку шкафа в прихожей и закрыла окно; шаги и голоса на улице исчезли. Затем она зажгла лампу над обеденным столом и вытащила коробку с глянцевыми картинками и засушенными цветами. По одной картинке, по одному цветку выкладывала она на стол и вспоминала, какими они казались ей прежде. Затем тетушка Герда протянула свою большую ловкую руку и одним-единственным движением заставила все эти прекрасные картинки снова соскользнуть в коробку. Кое-какие блески упали на ковер и засветились там, голубоватые, как ночь за окном.

РАЗГРУЖАТЬ ПЕСОК...

Шаланда с песком причалила у подножия горы, и мешки с цементом перенесли на берег. Теперь команда разгружала песок. Они нашли сильного парня, способного толкать тачку. Раз за разом он переправлял ее к берегу, сначала медленно, а потом, грохоча и делая широкие шаги, заставлял дощатый настил качаться, затем подтаскивал тачку к подножию горы, приподнимал колесо на настил, довольно быстро взбежал вверх по склону и отпускал груз на свободу. Пока песок высыпался вниз, он поворачивался лицом к морю и почесывал голову с таким видом, будто все это его ни в малейшей степени не касалось и делалось лишь развлечения ради. Его спина и руки блестели на солнце. Брюки были туго натянуты, а маленькая засаленная шапчонка — едва ли больше листка, который угораздило, кружась в воздухе, упасть вниз ему на волосы. В конце концов он протягивал руку, вытряхивал песок из ящика тачки дочиستا, одним резким движением поворачивал ее назад и, снова громыхая колесом, спускался вниз со склона горы к шаланде. Пока тачка катилась по настилу, слышались лишь легкие шаги его ног. Потом он сплевывал через перила с таким видом, словно он всему миру хозяин и начхать ему на это дело. Он позволял другим поднимать с помощью лебедки бочку с песком наверх и опустошать ее. Он был великолепен!

Она стояла, буквально прилипнув к мешкам с цементом, и смотрела. Ничего значительного с тех пор, как она научилась нырять, не происходило, а теперь все нахлынуло разом: и разгрузка песка, и это внезапное умение нырять. Она не могла быть в двух местах одновременно, это было невозможно. Вот так! Сна-

чала ничего, ну просто ничегошеньки не случается, а потом приходится выбирать, и это нелегко.

Она встала в четыре часа утра, чтобы не терять времени и чтобы владеть всей виллой. Стены и пол поделены по-новому полосоми солнечного света, который уже целый день не возвращался; спящий дом со всеми его по-летнему желтыми, покрытыми олифой стенами пронизывал насквозь свет раннего утра, и было абсолютно тихо. Она отворила окно на веранде, и гардина широко вздулась; воздух на воле был холодный. В кладовой нашлось лишь два мясных биточка. Она сунула их в рот прямо из миски, быстро слизала застывший соус и взяла одну ковригу хлеба из металлической хлебницы.

В саду благоухало утро — прохладный и преисполненный ожидания аромат. С каждым шагом она, торопясь и жуя на ходу, удалялась от виллы, спускаясь вниз, к берегу, и дальше по камням; прыжок... и два шага — абсолютно точно! Она все время ела на ходу.

Теперь он разбежался для прыжка и, снова удерживая тачку на дощатом настиле, на четвертом шагу переступил на другую ногу и перешел к длинным упруго-гибким прыжкам, а позже к резким, прерывистым, жестким звукам, когда тачка пересекала горный склон. Новый поток песка, хлынув, присоединился к этим звукам, и парень повернулся лицом к морю.

Она стояла за мешками с цементом и жутко завидовала ему. Нужно было что-то предпринять — теперь или никогда! Она перепрыгнула через край шаланды и закричала в грузовой трюм:

— Могу я помочь?

Голос ее прозвучал отчаянно смело, и ей стало стыдно.

Внизу во мраке стояли двое стариков, они не ответили. Единственный раз глянули они вверх и продолжали сгребать лопатами песок. Бочка была почти полной. Девочка села на палубе и покорно ждала. Он вернулся назад со своей тачкой, и песок вновь подняли наверх. Два раза возвращался парень обратно, и она не осмеливалась глянуть на него. В третий раз ей позволили спуститься в грузовой трюм.

Дневной свет исчез, словно скрылся за дверью, огромное помещение было овеяно глубокой и прохладной тенью. Бочка вновь спустилась вниз. Девочка схватила песок лопатой и что есть сил

быстро подняла его вверх. Лопаты со звоном скрестились, а руки ее словно загорелись.

— Это надо делать спокойно и равномерно, — сказал один из стариков. — А как делает это она! Подумать только!..

Она послушно ждала, пока они наполняли бочку и поднимали ее наверх. Выгружать песок — словно бы прыгать по камням: надо внимательно и точно рассчитывать каждое движение и делать лишь крайне необходимое, а еще — никогда не промахиваться. Поступать точь-в-точь как парень с тачкой. Тачка снова спустилась вниз. Девочка наполняла песком лопату и взмахивала ею в ту самую нужную минуту, что принадлежала ей одной. Она поднимала лопату и равномерно опустошала ее вместе с другими грузчиками. Все три лопаты сверкнули в сумрачном грузовом трюме, и разгрузка была завершена. Ноги глубоко скользнули вниз в рыжий влажный песок. Когда бочка наполнилась, все трое одновременно прекратили нагрывать песок; они оперлись, отдыхая, на лопаты, и глядели, как там, наверху, бочка взмывается ввысь вместе с лебедкой. А он ходил взад-вперед, покачиваясь на досках настила, бочка же снова и снова спускалась вниз то с одной, то с другой стороны кия — по очереди.

Первый взрыв раздался в глубине залива. Мне бы следовало быть и там тоже! Мне хотелось быть всюду! Как я смогу дальше жить, если все время придется выбирать меж двумя делами!

— Пора завтракать! — сказал старик и сунул лопату в песок.

Когда девочка поднялась на палубу — ослепительно сияло солнце. Подойдя к перилам, она сплюнула в море, сплюнула очень спокойно. Тут раздался новый взрыв, столб воды поднялся над лесной опушкой — невероятно высоко — и, прежде чем опуститься, долгое время оставался в воздухе. Столб был совсем белый. И как раз в этот миг над берегом потянулась стая лебедей. Она никогда прежде не видела лебедей в полете... и они кликали, они пели! Новый столб воды поднялся к небу, соединился с летящими птицами крест-накрест, и долго длившийся миг гигантский белый крест виднелся на фоне голубого неба.

Она помчалась по дощатому настилу, легко и чуть шатаясь; вскинув голову, она отбежала в сторону, мимо мешков с цементом, и вниз, в лес. Лес был тих и преисполнен до краев летним теплом, весь июнь пылало низко на горизонте, словно великолепно раскаленный дождь, солнце, а над трясинной носился гони-